

В. А. ЖУКОВСКИЙ

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ**

ТОМ ПЯТНАДЦАТЫЙ

**ПИСЬМА
1795—1817-х годов**





В. А. Жуковскій
рис. неизв. художн.
изъ альб. А. В. Елагиной

В. А. ЖУКОВСКИЙ

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ**

ТОМ ПЯТНАДЦАТЫЙ

**ПИСЬМА
1795—1817-х годов**



В. А. ЖУКОВСКИЙ

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ
В ДВАДЦАТИ ТОМАХ**



Памяти Александра Сергеевича Янушкевича

В. А. ЖУКОВСКИЙ

ТОМ ПЯТНАДЦАТЫЙ

ПИСЬМА

1795—1817-х годов

2-е издание



Издательский Дом ЯСК

Москва 2019

УДК 821.161.1
ББК 83.3 (2Рос=Рус) 1-8
Ж 86

Томский государственный университет

Электронная версия данного издания является собственностью издательства,
и ее распространение без согласия издательства запрещается.

Жуковский В. А.

Ж 86

Полное собрание сочинений и писем: В двадцати томах / Ред. коллегия: И. А. Айзикова, С. В. Березкина, Д. В. Долгушин, Э. М. Жиликова, В. С. Киселёв, О. Б. Лебедева, Н. Е. Никонова, И. А. Поплавская, А. С. Янушкевич (гл. редактор). — Т. 15: Письма 1795—1817-х годов / Сост., подгот. текстов и примеч. И. А. Айзикова, С. В. Березкина, Э. М. Жиликова, В. С. Киселёв, О. Б. Лебедева, С. И. Панов, И. А. Поплавская, А. С. Янушкевич; ред. О. Б. Лебедева. — 2-е изд. — М.: Издательский Дом ЯСК, 2019. — 1088 с., ил.

ISBN 978-5-907117-49-5 (т. 15)

ISBN 978-5-6040760-8-8

Полное собрание сочинений В. А. Жуковского впервые в эдиционной практике представляет наследие великого русского поэта в максимально полном на сегодняшний день объеме. Тексты Жуковского даны на основе критического осмысления всех известных автографов поэта и прижизненных публикаций.

В т. 15 вошли 355 писем В. А. Жуковского за 1795—1817 гг. к 49 адресатам, собранные по всем доступным источникам: архивохранилищам Москвы и Санкт-Петербурга, периодическим изданиям XIX—XX вв., собраниям сочинений Жуковского, изданным в XIX—XX вв., отдельным публикациям. Более 80 писем публикуются впервые.

УДК 821.161.1

ББК 83.3 (2Рос=Рус) 1-8

На фронтисписе:

*портрет Жуковского работы К. А. Зенфа (?), 1815—1817, воспроизведен по репродукции в изд.:
Альбом выставки в память Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского 1852—1902. М., 1902. Л. 65*

ISBN 978-5-907117-49-5

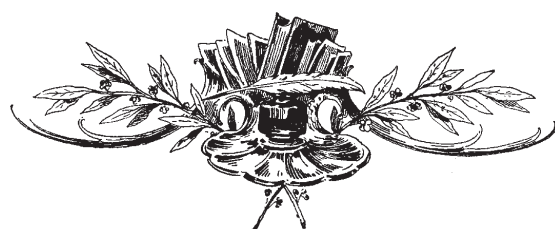


9 785907 117495 >

© О. Б. Лебедева. Редакция тома 15, 2019

© Издательский Дом ЯСК, оригинал-макет, 2019

ПИСЬМА
1795—1817-х годов



1795

1.

Е. Д. Турчаниновой*20 ноября 1795 г. Кексгольм*

Милостивая государыня матушка Елизавета Дементьевна!

Я весьма рад, что узнал, что Вы, слава Богу, здоровы; что ж касается до меня, то и я также, по Его милости, здоров и весел. Здесь я со многими офицерами свел знакомство и много обязан их ласками¹. Всякую субботу я смотрю развод, за которым следую в крепость. В прошедшую субботу, шедши таким образом за разводом, на подъемном мосту ветром сорвало с меня шляпу и снесло прямо в воду, потому что крепость окружена водою, однако по дружбе одного из офицеров ее достали.

Еще скажу Вам, что я перевожу с немецкого² и учусь ружьем. В прочем, прося Вашего родительского благословения и целуя Ваши ручки, остаюсь навсегда Ваш послушный сын Васинька.

20 ноября
1795-го года
Кексгольм³

2.

Е. Д. Турчаниновой*20 декабря 1795 г. Кексгольм*

Милостивая государыня матушка Елизавета Дементьевна!

Имею честь Вас поздравить с праздником и желаю, чтоб Вы оный провели весело и здорово. О себе честь имею донести, что я, слава Богу, здоров. Недавно у нас был граф Суворов¹, которого встречали пушечною пальбою со всех бастионов крепости. Сегодня у нас маскарад, и я также пойду, ежели позволит Дмитрий Гаврилович². В прочем, желая всякого благополучия, остаюсь Ваш послушный сын Васинька.

1795-го года
декабря 20 дня³
Кексгольм

1796

3.

Е. Д. Турчаниновой

<Начало января (после 6-го) 1796 г. Кексгольм>

Милостивая государыня матушка Елизавета Дементьевна!

Имею честь Вас поздравить с наступившим новым годом¹ и желаю, чтоб Вы оный и множество таковых провели благополучно и здорово.

О себе честь имею донести, что я, слава Богу, здоров и весел. У нас здесь, правду сказать, очень весело; в Крещенье² была у нас Иордан³, куда ходили с образами, и была пушечная пальба, и солдаты палили из ружей⁴. В прочем, желая Вам всякого благополучия, остаюсь навсегда Ваш послушный сын Васинька.

1799

4.

Г. Р. Державину

Январь 1799 г. Москва

Милостивый государь!

Творения Ваши, может быть, столько ж делают чести России, сколько победы Румянцевых¹. Читая с восхищением «Фелицу», «Памятник герою», «Водопад» и проч., сколь часто обращаемся мы в мыслях к бессмертному творцу их и говорим: «Он россиянин, он наш соотечественник». Пленные редкими, неподражаемыми красотами оды Вашей «Бог», мы осмелились перевести ее на французский язык, и Вам на суд представляем перевод свой. Простите, милостивый государь, если грубая кисть копиистов обезобразила превосходную картину великого мастера. Чтобы удержать всю силу, всю возвышенность подлинника, надобно иметь великий дух Ваш, надобно иметь пламенное Ваше перо.

Именем всех своих товарищей мы просим Вас, милостивый государь, снисходительно принять сей плод трудов наших, уверяя, что мы почтем себя весьма счастливыми, если он удостоится благосклонного Вашего внимания.

С совершенным высокопочтением имеем честь быть Вашего превосходительства милостивого государя всепокорнейшие слуги

*Василий Жуковский.
Семен Родзянка*

Генваря дня 1799 года, Москва

5.

И. П. Тургеневу

17 февраля 1799 г. <Москва>

Милостивый государь!

Благосклонное участие, приемлемое Вами в образовании нашего ума и сердца, исполняет душу нашу живейшими чувствами признательности. Много, много видели мы опытов Вашей к себе любви; но вчерашнее милостивое посещение Ваше новозаведенного нашего общества пребудет для нас незабвенно. Мы и теперь еще видим ту нежность, ту заботливую о благе нашем почтительность, которую вчера читали на лице Вашем. Пролитые Вами слезы прямо, кажется, упали на наше сердце, размягчили его и приготовили к будущему произрастанию плодов мудрости и добродетели. Каждое слово Ваше отзывается еще в душе нашей и всегда будет для нас ненарушимым законом.

С тою лестною, ободрительною надеждою, что Вы, милостивый государь, и впредь не престанете быть нежным нашим попечителем, нашим Наставником, нашим Отцом; и впредь не престанете принимать участия в дружеских упражнениях Собрания Благодородных воспитанников¹ и подкреплять их, с тою надеждою мы смело вступаем в открытый пред нами путь и надеемся с бодростью совершить его. Между тем примите, милостивый государь, в воздаяние за те нежные попечения, кои Вы о нас прилагаете, примите чувства искренней нашей благодарности, с которою именем всех членов Собрания честь имеем быть,

Милостивый государь!

Вашего превосходительства

покорнейшие слуги

Василий Жуковский.

Семен Родзянка²

1799 года

17 февраля

1800

6.

А. Ф. Мерзлякову

22 августа 1800 г. <Москва>

Главная Соляная Контора — 1800, авгу<ста> 22

Это письмо будет ответом на твое. Хороший же ты часовщик, когда не умеешь перестроить этих проклятых часов, которые бьют в твоём сердце и унылым

своим стуком нагоняют на тебя тоску и горечь. Загляни в них хорошенько — нет ли какой порчи, не истерлось ли какое колесо, не порвалась ли какая цепочка или что другое — мало ли что случиться может? Поправь, перемени, и дело кончено. Ты скажешь: «Трудно, почти невозможно»; но я буду отвечать с Делилем:

C'est de difficultés que naissent les miracles^{*1}.

Так, брат, один Бог знает, что такое человек, эта вечная загадка, которую Природа задала ему и которую он с минуты рождения по самую минуту смерти разгадывает и разгадать не может.

Жизнь наша не иное что, как неразрывная тень желаний, смерть есть конец их и, может быть, — исполнение. Ты жалуешься на непостоянство сердца человеческого и вместе на свое, но скажи мне, что бы была жизнь наша без сих желаний или — что почти всё равно — надежд², которых господа Головоломы или философы называют суетами? Холодную, однообразную жизнью, лишенную всех прелестей и удовольствий, одним словом, *степью*, в которой глаза наши ничего не видят, ничего не встречают, кроме отдаленного безмолвного неба, которое сливается с горизонтом... *Espérer c'est jouir*^{**3}, говорит Delille, и я верю Делилю. Положим, что надежды часто нас обманывают, но другие надежды, может быть, также обманчивые, заступают их место и держат сердце наше, как говорят французы, *en suspens*⁴ et ce suspens-là est déjà jouissance^{***}. К тому же, надобно тебе сказать, *совершенное* наслаждение, по натуре человеческого сердца, не может быть чистым; оно смешано с некоторою неприятностью, и, можно сказать, исполнение всех наших желаний есть начало скуки и хладнокровия. Мы можем уподобиться мореплавателям, которых кормчий — надежда, которых попутный ветер — желание; если мы обманываемся, почетши отдаленное облачко желанною пристанью, то мы едем далее и — *опять надеемся*, что скоро увидим настоящую землю. Итак, мой милый, не бранись с собою за то, что ты беспрестанно желаешь нового и недоволен старым. Желание нового (а желать — почти то же, что надеяться) есть *Triebfeder*^{****} наших дел. Тот бедный человек, кто живет на свете без надежды; пускай будут они пустые; но они всё *надежды*, они всё *любезны и нежны*⁵.

NB. Я пишу всё это в гнилой конторе, на куче больших бухгалтерских книг, вокруг меня раздаются голоса толстопузых, запачканных и разряженных крючкоподьячих; перья скрипят, дребезжат в руках этих соляных анчоусов и оставляют чернильные следы на бумаге; вокруг меня хаос приказных; я — только

* Из трудностей рождаются чудеса (*франц.*).

** Надеяться — значит наслаждаться (*франц.*).

*** В *неопределенности*, и эта неопределенность есть уже наслаждение (*франц.*).

**** Движущая сила (*нем.*).

одна планета, которая, плавая над безобразною структурою мундирной сволочи, мыслит *au dessus du Vulgaire** и — пишет к тебе письмо.

Итак, за старую песню.

Одним только матросам нельзя учиться на берегу управлять судном для того, что они — матросы. А нам, между нами будет сказано, философам, это не запрещается; кто из спокойной пристани увидит разбившуюся лодку о подводный камень, тот не направит туда *своего* судна; ветрами не совладеешь тогда, когда они бунтуют; поздно ставить громовой отвод тогда, когда гром ударил и зажег твою хижину. Учись в тишине души управлять душою и заранее предсматривай бури; опыты только поддерживают теорию; когда я с образованным сердцем войду в хаос света, то не нужен Эгид Минервин⁶ для прикрытия его от стрел Купидоновых. Должности диктует нам сердце, мир есть поприще, на котором мы их исправлять должны; как же ступить в это поприще, не имея посоха, которым бы подпереться было можно? — вот мое возражение на то, что ты написал в письме своем; если оно несправедливо, то посылай антирецензию⁷.

Картина твоей Природы прекрасна, стихотворна, только она слишком ветрена, твоя Природа⁸.

Нет, нет, друг мой, если жизнь наша только роза, только *блестящая* роза, то за что мне благодарить Природу?

А я благодарю ее, благодарю с трепещущим сердцем, с пылающею душою.

Я вот как толкую, или только изображаю дары Природы.

Я рождаюсь в свет, и в тихом веянии благодати низлетает ко мне добрая мать моя — Природа;⁹ в руке ее семя моей жизни* (*Эта картина родилась от твоей, только справедливее), вот, говорит она юнорожденному своему сыну, вот семя твоей жизни; вместе с тобою будет оно развиваться, возрастет и некогда обратится в дуб кудрявый. Если ты сбережешь юную, только расцветшую былинку, то распустившееся дерево будет благотворною тенью осенять цветущий луг и украшать леса и рощи. Если же мороз успеет охладить жизнь в расцветающем растении, то оно поблекнет, и ты, сын мой, увянешь вместе с ним.

Благодарю тебя, Природа, за материалы и дары твои, за эту любовь к добру, пылающую в моем сердце, которая есть твой голос и которая меня остерегает; если увянет оно, сие растение, порученное мне тобою, то не тебя обвинять буду, а лишь горестными слезами стану обливать поблекшую былинку, которую не умел сберечь и воспитать... Я, я один буду виновником; ты дала мне всё, и я из этого всего не умею извлечь своей пользы.

Роза не может быть эмблемою моей жизни; она благоухает только тогда, когда цветет под ясным небом; листья ее разлетаются от малейшего ветра — дуб же стоит и тогда, когда бунтуют бури и вихри; дуб стоит и тогда, когда зима

* Выше черни (франц.).

и дряхлость иссосали жизнь из его сердца. Странник, смотря на обнаженные его ветви, говорит: я наслаждался его тенью; он велик и после смерти.

Мысль твоя прекрасна — быть друзьями, друзьями людей и муз, учиться для того, чтобы знать цену дружбы и добродетели, чтобы делать общими силами добро. Так, друг мой, это прямая дорога к счастью; быть счастливым или добрым, а добрым и счастливым нельзя быть без отношения себя к Богу и обществу — вот моя религия, вот моя любовь к вечному отцу моему.

Воображение мое никогда не было воином, а меньше того, Дон-Кишотом, который мельницы принимал за великанов, а стадо овец — за войско неверных. Я там не вижу препятствий, где их ни видеть, ни превозмочь не намерен. Говоря языком православных русаков, скажу тебе: я *люблю* для того, что любить непременно должно, что это сродно моему сердцу; успехов в любви не надеюсь для того, что не могу, не ищу и не хочу получить их, и еще для того, что — подивись человеческому сердцу, — что они ослабили бы любовь мою. Вот ответ на мистический вопрос твой.

7.

Е. Д. Турчаниновой

<Вторая половина 1800 г. (не ранее июня). Москва>

Милостивая государыня матушка
Елизавета Дементьевна!

Григорий приготовил деньги за себя, только дело остановилось за тем, что он не знает, куда он приписан по подушному окладу и каким образом нам укреплен; итак, извольте потрудиться об этом осведомиться и поскорее ко мне прислать¹. Да не худо бы было, когда б Вы попросили Михайлу Ивановича², чтоб он сделал одолжение написать черную отпускную, ибо я хотя и пустился в статские скрипонеры³, но ничего такого писать не умею, за что я ему отвешу земной поклон. Григорий не может теперь дать более 625 рублей, а других 25-ти просит подождать, ибо теперь их у него нет и — так как и Бог кающихся прощает, — я чистосердечно признаюсь, что из вышереченных 625 взял 25. — На что? — Вы спросите. — На книги, отвечаю я, и уже вижу, что Вы сердитесь. — Но Вы, конечно, меня в том простите; я уверен в этом совершенно, ибо учивши меня столько времени тому-сему, Вы не захотите, чтобы я это забыл, и все деньги, которые Вы за меня платили в пансион, были бы брошены понапрасну.

Итак, как бы то ни было, Вы, конечно, простите меня за то, что из 625 рублей взял я 25 на *нужные книги*⁴.

С этою сладостною надеждою остаюсь с истинным почтением и *преданностью*, милостивая государыня матушка, Ваш послушнейший сын... Хорош

послушный! скажете Вы: 25 рублей взял! На это отвечаю еще громче — препослушный сын В. Жуковский.

1801

8.

Д. Н. Блудову

*<Середина ноября (после 12-го) 1801. Москва>**

Мой добрый и любезный друг, извини меня, что я так мало к тебе пишу. Это физическая для меня невозможность написать два письма вдруг; а мне должно написать к тебе попространнее. Теперь я расположил свою корреспонденцию так, что ты, Анд<рей> Ив<анович>¹ и Родзянка² будете получать мои письма каждый через две почты; а теперь хотя бы пожелал написать к тебе, но я крайне не в духе, по крайней мере, что-то не пишется. Прости, друг любезный, будь уверен, что я тебя так же люблю и помню. Скажи от меня то же Родзянке, не забудь; получил ли он мое письмо, в котором я послал ему *The traveller*, Гольдсмитову поэму³.

Попроси его мне отвечать на это письмо.

Adieu, adieu.

Отдай мое письмо Андрею Ивановичу! Ты знаешь ведь, где он остановился⁴.

1802

9.

А. М. Соковниной

<Первая половина 1802 г. Москва>

Покорно благодарю Вас за коврижку.

Она не только прекрасна, но бесподобна, несравненна, потому что от Вас!

Я ел ее с такою приятностью, с таким восхищением, что не увидел, как съел; так всё скоро проходит в свете; одно только не пройдет вечно, и то не в свете, а во мне... Кат<ерина> Мих<айловна>¹ в своем письме пишет ко мне, что *хорошо радоваться любовью других, если своего предмета нет*, — а я хотя и имею предмет, милый, достойный любви, но не радоваться, а плакать должен. Пожалейте обо мне. Вы так жалостливы и — безжалостны!

Прочтите еще раз для памяти песню «Филлида, я любим тобою!», а после нее «Послание к жестокой»². Эти две пьесы неразлучны! Но Вы, я думаю, о них и позабыли! — Бог Вам судья!

1803

10.

Е. А. Протасовой

21 апреля <1803. Москва>

Скажу о себе, что я, может быть, месяцем позже Вас увижу; я еду на месяц в Свирлово жить вместе с Николаем Михайловичем. Вообразите, какое блаженство, и порадитесь вместе со мною. Его знакомство для меня — счастье, и, верно, мой добрый дух сказал Вам, чтобы Вы послали меня с письмом к нему: без того я бы к нему от своей глубокой застенчивости не поехал. Видите, что всё истинно для меня доброе получаю я от Вас. Простите, еще раз целую Ваши ручки. Матушка Вам свидетельствует свое почтение. Посылаю Вам книжку «Les prières d'Eckartshausen»¹: это мой подарок, который, конечно, будет Вам приятен.

11.

И. П. Тургеневу

11 августа <1803 г. Белев>

11 августа

Милостивый государь Иван Петрович!

Я имел счастье получить Ваше драгоценное, утешительное и вместе горестное письмо; Вы можете вообразить себе мою благодарность. Мне лестно и усладительно видеть, что Вы разделяете со мною чувства души своей и находите в этом некоторую отраду. Чувствую цену Вашей милости. Осмелюсь сказать, что воспоминание о незабвенном нашем А<ндрее> И<вановиче> и любовь к его милому праху должны соединить нас теснее, несмотря на расстояние, которое разлучает нас. Я, любя Вас лично, как добродетельного человека, которого пример почитаю благодеянием, буду еще больше любить в Вас отца моего истинного друга, которому я не имел времени и случая доказать, как он мне был дорог и любезен. Вот что еще более усиливает мою горесть. Я всё думал о будущем и надеялся опытов. Но как обманчива надежда! И со всем тем человек не перестает надеяться. Как я несчастлив, что не мог быть при нем в минуту смерти. Но он умер не один, он умер на руках П<аисия> С<ергеевича>¹, которому завидую от всего сердца. По крайней мере, утешаюсь внутренним чувством своим, которое говорит мне, что я не оставил бы его в эту минуту, не побоялся ужасной прилипчивой болезни и пожертвовал бы жизнью для последнего долга дружбы, для утешения умирающего, единствен-

ного друга своего. Может быть, темное, отдаленное воспоминание о тех, которые оставались плакать по нем в этом мире, приходило оживлять его в некоторые минуты, свободные от физического страдания! Может быть, он желал нас видеть и воображал всех тех, которые будут несчастны, потеряв его! Но кого не утешит в самых страданиях вид И<вана> Вл<адимировича>!² Он, конечно, облегчил тягость разлуки его с жизнью! Он уладил его надеждою на бессмертие, на скорое свидание с теми, которых он любил в этом мире! Как такие утешения должны быть действительны при конце жизни! Прошу Бога, чтобы не допустил мне умереть одному, посреди людей нечувствительных! Смерть сама по себе ничего, но обстоятельства смерти могут быть ужасны. Ах, почтенный человек, как понять, что такое смерть? Мертвые не говорят; а те, которые оплакивают их, видят одни развалины, ничтожество целого. Верю, что я, то есть состав мой, не исчезнет. Стихии разделятся, приобщатся к стихиям; но где тот образ, то явление, которые происходили от союза стихий? Части разрушенного инструмента целы; но где гармония, где прелестные звуки, которые восхищали меня? Но в природе нет ничтожества. Смерть есть изменение. Творение умирает, перестает действовать только тогда, когда сила, которая двигала его органами, перестает производить сие движение. Если мы составлены из стихий, то почему не назвать души стихиею же, несравненно тонкою, первородною, истекающею от первоначальной стихии, которая оживляет всё творение, от Бога? Грубые стихии отделятся, возвратятся к своим источникам, душа к своему источнику. Фенелон называет Бога *étendue sans bornes, dans laquelle toutes les étendues bornées existent et se concentrent*^{*3}. *Пространством бесконечный*⁴. Но если душа, как духовный атом, отделенный от души всемирной, объемлющей всё своею беспредельностью, должна к ней приобщиться и в нее *кануть*, как в океан капля, то какая утешительная мысль о будущем свидании может оживлять человека, разлученного смертью со своими любезными? Мы можем желать и надеяться только таких радостей, которые воображать можем; только тот образ, под которым мы здесь были счастливы, может пленять нас в будущей жизни. Ожидая будущего свидания с друзьями, мы желали бы сохранить те чувства к ним, которые имела душа наша в сей жизни. Но душа наша, приобщившись к началу своему, должна необходимо измениться, получить новый образ чувств и мыслей. Где же будут сии наслаждения, которыми были бы мы счастливы в сей жизни? Составляя часть необъятного целого, мы будем чувствовать и наслаждаться только в отношении к этому целому, и я понимаю, что это наслаждение будет чище и выше. Но где же будут наслаждения частные, которые были принадлежностями нашего *особенного* бытия, о которых мы здесь

* Безграничным пространством, в котором существуют и сосредоточиваются все ограниченные пространства (*франц.*).

имеем идею и которых одних желать и надеяться можем, потому что уже их испытали? Если душа моя не разрушится с бrenным телом, то для чего не блаженствовать ей в кругу отделенном, не почитать сего верховного блаженства своею собственностью, деля его с теми, которые были ей здесь любезны, с которыми она соединилась навеки и никогда не разлучится? Может быть, я сам себе противоречу! Если наслаждения будут выше и благороднее, то должно ли сожалеть о тех, которые имели мы в сем мире? Как бы то ни было, доверенность к Провидению! как говорит Карамзин⁵ и как должен говорить всякий добрый человек. Если есть Бог, то есть и душа, вечная, бессмертная. А как не быть Богу! Мы ограничим Его свойства, если скажем, что Он создал нас для того, чтобы мы обратились в ничто: мы назовем Его тогда только творящим и всесильным Существом и отнимем от Него любовь и благодать. Он тиран, если пустил нас в мир для страдания или *несовершенных* удовольствий, давши нам волю и понятия, которые влекут нас к *совершенному*, к высокому и благородному, и отнял у нас бессмертие, которое одно может удовлетворить нашим беспредельным желаниям и планам. Что еще больше заставляет думать, что души наши будут иметь особенные круги действия в том мире, есть то, что не все они оставляют здешний мир с одинаким совершенством. Души Равальяка и Генриха⁶ не могут составлять вместе одного целого. Они будут в течение всей вечности в одинаком расстоянии одна от другой, будут беспрестанно подходить к совершенству, но так, что дух Равальяка, очищенный и возвышенный, всегда будет столькими ж степенями ниже Генрихова, сколькими был он ниже здесь, в этом мире. И в сем отношении можно принять вечное наказание, впрочем, несообразное с понятием о Творце милосердом и всемогущем. Такое наказание есть в порядке вещей и должно быть твердейшим и неизменяемым законом в творении. Довольно! Пусть будет то, что должно быть! Наше дело: быть добрыми в сей жизни. Смерть решит все сомнения. Вообразите же, что для нашего А<ндрея> И<вановича> всё решилось! Для чего, скажу я вместе с Вами, запрещено мертвым сообщаться с живыми; для чего их могилы закрыты и безмолвны? Ах, они видят нас, окружают нас, трогаются нашим несчастьем, и эта одна мысль должна бы была удерживать нас и отвращать от зла... Но человек есть слабость, страдательное, бессильное творение!

Как мне приятно и усадительно говорить и думать с Вами. Перечитываю письмо и нахожу, что оно беспорядочно. Вы меня простите. Я говорил, не приговорясь, так, как лилось из души моей, не думая о слоге и порядке.

Осмеливаюсь напомнить Вам, милостивый государь Иван Петрович, о моей просьбе переписать письма и другие интересные бумаги покойника. Этот подарок был бы для меня самым лучшим, какого только я желать могу. Позвольте Вам открыть план мой, которого исполнение зависит от воли Вашей. Позвольте мне сделать выбор из писем А<ндрея> И<вановича>, в которых так

видна душа его, благородная и необыкновенная, и быть их издателем⁷. Это будет лучшим ему памятником. Письма эти суть всё, что нам осталось от человека единственного, который мог бы быть украшением своего отечества. Напечатав их, докажу ему, что память его мне драгоценна. Я пожертвую на это издание несколькими деньгами, приобретенными моими трудами; употреблю всё, что могу, чтобы сделать его достойным моего незабвенного друга. Ах, я не таким образом надеялся доказать ему свою дружбу! Что ж делать! Недавно, перечитывая стихи свои на «Марьину рощу»⁸, которые начал было я сочинять в Свирлове⁹, я прочел в них с некоторым трепетом след<ующие> два стиха:

Что ждет меня в дали на жизненном пути?

Что мне назначено таинственной судьбою?

Ах, судьба очень скоро отвечала мне на этот вопрос! Смелые люди почитают отдаленным то, чего не видят; но как оно бывает от них близко! Сия скрытность есть одно из первейших благодетелей Провидения: если б несчастья приближались видимо, то сколько бы мы страдали, не будучи несчастными!

Я ожидаю и надеюсь Вашего позволения. Уверен, что Вы не станете помогать мне деньгами, нужными для напечатания. Позвольте, чтобы этот памятник был точно мой. Мы можем поставить другой на милый гроб его, который должен быть отличен от других гробов. Пускай отец и друзья своими руками положат камень на могилу своего незабвенного. В день суда он не воспрепятствует восстать ему. Мы можем заметить день его смерти, посвятить его во всё течение жизни своей какому-нибудь обряду, который бы напоминал нам любезнейшего человека и вместе соединял нас всех чувствами и во время разлуки нашей. 8-е июля¹⁰ все мы, где бы мы ни были, будем думать об нем и делать одно. Это его мысль. Он в одном письме ко мне предлагал членам Собрании назначить день, который бы всем посвящать воспоминанию о Собрании.

Итак, Вы позволите мне быть издателем его писем, которые посвящу Вам; Вы позволите приобщить мне к ним краткую историю жизни его: пускай все знают, кто он был и что он был для тех, которые были с ним связаны тесными узами. Вот памятник его достойный! А стихов моих¹¹ не должно печатать: я горд именем его друга, но такими ли стихами я должен почтить кончину его? Они писаны для меня и для Вас. Публика смотрит на стихи, а не на чувства. Она не поймет меня. Простите, милостивый государь; смею надеяться, что Вы скоро исполните мою просьбу и не откажете мне в своем позволении. Почтенному Максиму Ивановичу¹² мое истинное уверение в вечной дружбе.

Остаюсь с сердечною преданностью Вашим покорнейшим слугою

Жуковский

12.

Д. Н. Блудову

7 ноября 1803 г. <Белев>*

Ноября 7^{го} 1803

Благодарен Блудову за его пантомиму¹. Я получил Телемака², *Esprit de l'Histoire*³ и *Le poème de la pitié*⁴, но не получил письма, которое, признаюсь, больше бы меня обрадовало. Vous avez des torts envers moi, mon cher Bloudov. Vous m'avez manqué dans une occasion essentielle. Vous avez connu mon amitié pour le défunt A.⁵, et pas un mot de consolation de votre part. Comme si vous étiez étranger à nous deux. Cette froideur est pénible. Je ne puis pas vous forcer à m'aimer, c'est votre affaire, ou pour mieux dire c'est l'affaire de votre cœur. Mais si je puis me fier à l'apparence, je vous crois mon ami, vous m'avez paru tel au moins. C'est votre devoir de me désabuser. Je veux tout ou rien. Point de milieu dans l'amitié. Ayez la bonté de m'écrire si vous n'avez point changé envers moi. Ce n'est pas votre silence qui m'a fait croire que vous n'êtes plus ce que vous étiez auparavant, mais c'est votre silence dans un temps où vos lettres m'étaient le plus nécessaires. Un homme qui était mon ami, qui, je puis le dire à vous, était trop nécessaire pour mon bonheur, vient de nous quitter, et des étrangers m'ont annoncé sa mort; vous qui l'avez vu dans ses derniers instants, vous gardez le silence comme un homme tout à fait indifférent: ce n'est pas agir en ami. Mais si vous avez manqué aux morts, soyez en bon accord avec les vivants, oublions tout. J'aime à croire que c'est votre légèreté ordinaire qui a fait tout cela, que vous n'avez point changé; soyons encore bons amis et pour longtemps, pour toujours. Répondez-moi au plus vite. J'adresse cette lettre à Boschniäk ne sachant pas où l'adresser directement. Adieu. Je suis toujours à Belief⁶. Je bâtis une maison, je plante un jardin, et je ne fais rien.

Une commission que vous devez absolument prendre sur vous, c'est de savoir où sont les papiers et les lettres d'André Tu.⁷; chez qui sont ils restés: faites-moi le plaisir de me donner une notice courte sur cet objet. Envoyez-moi votre adresse et celle de Pierre Kaysarow.

P. S. Au nom de Dieu n'oubliez pas de me dire qu'est devenu Rodzianka⁸: je ne sais rien de son sort. Où est-il? Et comment est-il? Il est bien malheureux! Dieu donne que son état soit une maladie passagère. Il y a une sorte de fièvre brûlante dont la suite est que la tête se trouble pour quelque temps! Mais il me semble qu'il n'a pas eu de fièvre brûlante. Quel malheur pour lui! Ce n'était pas un homme ordinaire.

Écrivez-moi une fois chaque mois, je ferai la même chose et nous ne nous accuserons pas mutuellement de paraître.

Ma lettre est un brouillon plupart. Mais j'espère que vous l'entendrez et me rassurerez pleinement sur votre compte.

Благодарен Блудову за его пантомиму¹. Я получил Телемака², «Дух Истории»³ и «Поэму сострадания»⁴, но не получил письма, которое, признаюсь, больше бы меня обрадовало. Ты поступил плохо по отношению ко мне, мой дорогой Блудов. Ты проявил невнимательность при важнейшем обстоятельстве. Ты знал мою привязанность к покойному А<ндрею>⁵, и ни слова утешения с твоей стороны, как если бы ты был совсем чужим нам обоим. Эта холодность мучительна. Я не могу заставлять любить меня, это твое дело или, лучше сказать, дело твоего сердца. Но если я могу полагаться на свое впечатление, я верю, что ты мне друг, по крайней мере, ты мне казался другом. Теперь твое дело меня разубедить. Мне нужно всё или ничего. В дружбе не бывает середины. Будь добр написать, если ты не переменялся в отношении ко мне. Дело не в твоём молчании, не оно заставило меня поверить, что ты не тот, что прежде, но дело в твоём молчании в то время, когда твои письма мне были более всего необходимы. Человек, который был мне другом, который, могу тебе сказать, был очень необходим для моего счастья, покинул нас, и я узнал о его смерти от чужих. Ты, кто видел его в последние минуты его жизни, ты молчишь, как человек, совершенно безразличный: это не по-дружески. Но если ты изменил долгу перед умершими, будь в гармонии хотя бы с живыми, забудем всё. Очень хочу верить, что всему причина — твое обычное легкомыслие, что ты не изменился; будем же добрыми друзьями надолго, навсегда. Ответь мне поскорее. Посылаю это письмо Бошняку, не зная, куда его посылать непосредственно. Прощай. Я по-прежнему в Белеве⁶. Строю дом, засаживаю сад и ничего не делаю.

Поручение, которое ты должен непременно взять на себя: нужно узнать, куда делись бумаги и письма Андрея Т<ургенева>⁷; у кого они остались; сделай одолжение, извести меня по этому поводу. Отправь мне свой адрес и адрес Петра Кайсарова.

Р. S. Ради Бога, не забудь мне сказать, что случилось с Родзянкой⁸: мне ничего не известно о его судьбе. Где он? Как его дела? Он очень несчастлив! Дай Бог, что его состояние всего лишь какая-то кратковременная болезнь. Есть что-то вроде сильной лихорадки, в результате которой в голове мутнеет на некоторое время. Но мне кажется, что у него не было жгучей лихорадки. Какое несчастье для него! Он всегда был незаурядным человеком.

Пиши мне раз в месяц, и я буду делать то же самое, и мы не будем обвинять друг друга в лени.

Мое письмо по большей части — набросок. Но я надеюсь, что ты его услышишь и успокоишь меня на свой счет.

1804

13.

Д. Н. Блудову

21 января 1804 г. <Белев>*

21 Janvier 1804

Bonjour, mon cher et très cher Bloudov; beaucoup de remerciement pour votre lettre, qui m'a totalement rassuré sur votre compte: soyons amis derechef ou pour mieux m'exprimer continuons d'être amis, comme nous avons toujours été, car une étourderie peut-elle ou doit-elle produire une méprise. Votre main, mon cher, et ne m'oubliez jamais, ни в грозу, ни в ясную погоду. Notre amitié doit être le symbole de l'existence, mon cher, et qui s'est trop rapidement enfuie de notre défunt ami¹. Est-ce que vous allez souvent sur sa tombe? Non, pourquoi ces cérémonies; allez-y quand votre cœur en sentira le besoin! Il faut abhorrer la sentimentalité, mais il faut alimenter sa sensibilité, car sans elle le monde, la vie même ne sont qu'un néant.

Mon cher ami, jetez sur sa tombe quelques fleurs de ma part² — je vous écris cela, étant sûr que vous ne vous méprenez point sur mes sentiments, ils ne peuvent être risibles que quand on en fait parade; jamais je ne parle de lui avec personne; cette matière est sacrée; elle n'est que pour ceux qui en sentent le prix.

Que vous dirai-je de mon existence! Elle coule, il faut qu'elle s'abandonne à sa pente! Je suis toujours le même! toujours j'élève des édifices sur le sable! Rien de réel, tout est imaginaire! Mais cela doit être nouveau pour vous — (déjà en six mois nous ne nous sommes écrit que deux fois, vive la paresse!).

C'est que je bâtis, et même j'ai commencé à bâtir une maison à Belef, une maison propre, jolie, le site charmant — une maison pour les muses, la philosophie, la solitude et la rêverie — je n'ajoute pas pour la mine car cela s'entend. Cette maison sera située sur une hauteur; en bas coule l'Oka; son autre bord une immense plaine <нрзб.>, qui est rayée de chemins et au loin parsemée de vergers, de villages, de collines, le soleil levant me fera toujours sa première visite. Devant la maison, sur le penchant de la montagne, j'espère planter un jardin à l'anglaise petit mais délicieux, comme cela doit être. Dans cette retraite, mon cher ami, je dirai, invisible, mais peut-être content de mon sort j'espère que vous viendrez me visiter quelquefois, ou si la mort m'est aussi réservée avant le bonheur, vous jetterez quelques soupirs à ma mémoire. Toutes les idées mélancoliques me charment, l'homme qui a quelque chose de plus dans son âme que celui qui est perdu dans la <нрзб.> du vulgaire, aime à s'abandonner à la tristesse, l'âme met en mouvement son réalisme intellectuel: il me semble que le bonheur continu, sans aucune diversion deviendrait à la fin insipide; la mélancolie est une ressource contre une insipidité.

Pour mes créations littéraires, je vous dirai que j'ai commencé quelque chose, je ne sais si je finirai: c'est un conte, tiré de l'histoire Russe, ou pour m'exprimer avec plus de vérité de mon imagination, le titre: *Бадим*, pas moins. Son commencement est déjà imprimé; vous le lirez dans le dernier numéro du *Courrier de l'Europe*, qui va bientôt paraître³. De l'indulgence, mon cher! Je n'ai fait imprimer le commencement que pour fixer l'attention du public; le tout sera critiqué, jugé, rejugé par mes amis sans miséricorde, mais ce ne sera que le tout car je crains d'être découragé à l'entrée de la carrière.

Pour à présent, adieu. Vous me devez une lettre bien longue et bien détaillée sur vos occupations; sur les théâtres et sur vos amours. Si vous voyez, mon cher, Боккаревич⁴, dites-lui de ma part que je l'aime, que je le révère et que jamais, jamais je n'oublierai ce que je lui dois. Dites cela, je crains qu'il ne me croie, ou ingrat, ou trop volage, mais je ne suis ni l'un ni l'autre, je ne suis que paresseux, défaut que vous pardonneriez, j'espère, sans aucune difficulté. Faisons un accord, touchant la paresse, écrivons-nous une fois chaque mois, cela ne nous incommodera point en aucune manière. Je prends pour moi le 30 de chaque mois et vous prenez le 15 et c'est fini. Adieu. Comment vont vos affaires avec Мелпомène et Thalie.

Перевод:

21 января 1804

Здравствуй, мой дорогой и дражайший Блудов; благодарю за твое письмо, которое меня совершенно успокоило на твой счет: будем снова друзьями или, выражаясь точнее, продолжим быть друзьями, как мы и были ими всегда, потому что забывчивость может или должна привести к недоразумению. Твою руку, дорогой, и не забывай меня никогда — ни в грозу, ни в ясную погоду. Наша дружба должна быть, милый мой, символом бытия, которое слишком быстро ушло от нашего покойного друга¹. Часто ли ты ходишь на его могилу? Нет, к чему эти церемонии; иди туда тогда, когда твое сердце будет испытывать в том нужду! Нужно ненавидеть сентиментальность, но нужно питать свою чувствительность, потому что без нее мир, даже жизнь, есть лишь небытие.

Дорогой мой, принеси на его могилу несколько цветов и от меня² — я тебе это пишу, будучи уверен, что ты правильно понимаешь мои чувства, они могут показаться смешными лишь тогда, когда их выставляют напоказ; никогда ни с кем не говорю я о нем; эта тема священна; она только для тех, кто чувствует ей цену.

Что сказать тебе о моей жизни! Она течет, нужно, чтобы она предалась своему течению! Я всё тот же! Всё так же строю замки на песке! Ничего действительного, всё мнимое! Но это должно быть для тебя новостью (ведь в течение полугода мы лишь два раза писали друг другу; да здравствует лень!).

Дело в том, что я строюсь, и даже начал строить дом в Белеве, дом опрятный, красивый; очаровательная местность — дом для муз, философии, одиночества и меч-

таний — я не говорю для настроения, это само собой разумеется. Этот дом будет расположен на возвышенности; внизу течет Ока; ее другой берег является необъятной равниной, изрезанной дорогами и усеянной вдаль садами, селами, холмами; восходящее солнце всегда будет наносить мне свой первый визит. Перед домом, на склоне горы, я надеюсь разбить сад на английский манер, маленький, но прелестный, как и должно быть. В этом уединении, дорогой друг, я надеюсь, меня, невидимого, но, может быть, довольного судьбой, ты будешь иногда навещать или, если смерть мне уготована ранее счастья, ты вздохнешь несколько раз в память обо мне. Грустные мысли меня очаровывают; человек, у которого есть нечто большее в душе, чем у того, который погряз в заурядности, любит предаваться унынию, которое приводит в движение его душу: мне кажется, что непрерывное счастье, безо всякого разнообразия, может стать в итоге скучным: грусть есть средство от скуки.

Что до моих литературных творений, я тебе скажу, что я начал кое-что, но не знаю, закончу ли: это рассказ, взятый из русской истории, или, точнее выражаясь, из моего воображения, название «Вадим», не меньше. Его начало уже напечатано; ты прочтешь его в последнем номере «Вестника Европы», который скоро появится³. Снисхождения, милый мой! Я напечатал только лишь затем, чтобы привлечь внимание публики; целое будет немилосердно критиковать, судить и вновь судить мои друзья, но только когда это будет целое, потому что я боюсь потерять всякую надежду в начале карьеры.

А теперь, прощай! Ты мне должен написать очень длинное и обстоятельное письмо о твоих занятиях; о театрах и своих любовных делах. Если ты увидишь Баккаревича⁴, скажи ему от меня, что я его люблю и почитаю и что никогда, никогда я не забуду, чем ему обязан. Скажи это, ибо я боюсь, как бы он не посчитал меня неблагодарным или слишком ветреным, но я ни то ни другое; я всего лишь лентяй; недостаток, который ты, я надеюсь, с легкостью простишь. Уговоримся касательно лености; будем писать друг другу раз в месяц, это нас ни в коей мере не стеснит. На себя я беру 30 число каждого месяца, а ты бери 15, и дело с концом. Прощай. Как твои дела с Мельпоменой и Талией?

14.

Д. Н. Блудову

*<Начало августа 1804 г. Белев>**

Здравствуй, Блудов!

«Энеида», переведенная господином Яковом Делилем¹, объявила мне, что ты еще жив и обо мне помнишь. Известие очень приятное для твоего друга; жаль, что «Энеида» приехала ко мне без письма, которое, право, было бы для меня приятнее! Но я не имел права требовать от тебя писем! Другое дело дружба; тебе легче быть моим другом, нежели писать ко мне. Это натурально изведено мною по опыту. Но, жестокий человек, ты мог бы устыдить меня своим великодушием и писать ко мне чаще? Что я говорю *чаще*? Просто писать, потому что ты ни ча-

сто, ни редко ко мне не пишешь. Итак, мне остается только благодарить тебя за одну «Энеиду», по несчастью, безмолвную и, как мне кажется, не совсем удачно переведенную. Делиль старится и только *пишет* стихи, а не *творит* их. Нет силы и величественности в стихах его «Энеиды»: беспрестанно себя повторяет, и мало разнообразия, чувствительная монотония!

Не сердись на меня за мое педанство: я прочел один раз и без отменного внимания «Энеиду»², может быть, вторичное чтение откроет мне глаза, но теперь не нахожу того в стихах Делиля, что прежде находил в них. Скажи мне, ты не переменялся ли так же, как и стихи Делилевы? Не сердись за этот вопрос, ты имеешь такое же право спрашивать у меня об этом, какое я имею; но, правду сказать, ты имеешь больше материи писать ко мне, нежели я к тебе, ты больше видишь — я всегда окружен одними и теми же предметами и для тебя совсем неинтересными. Для тебя искусства *открывают все свои сокровища*; ты мог бы писать ко мне о театрах, о людях, которых видишь в обществах, разве ты не философ, не наблюдатель, не литератор? Я здесь один-одинехонек, затеял строить дом³, и надобно тебе сказать, что строить дом и жить в доме — не одно и то же: первое крайне неприятно, следственно, мои занятия были по большей части неприятны; даже и в себе самом редко нахожу утешение, часто узнается пустота в душе моей, рад бы спрыгнуть с земного шара, как говорит не помню, кто? Чем же бы я мог наполнить свои письма? Описанием тяжкого положения моего сердца: не стоит труда и чернил? Уверениями в моей дружбе? Ты в ней уверен и должен быть уверен. Больше нечем. Я еще ничего не сделал, не дал стихов, не дал прозы, для того, что по сие время не имел спокойного места и почти жил на своем строении. Впрочем, я скажу тебе, что я расположился, *quant au présent**, жить тихомолком, в своем белевском доме, *en cultivant ma tête et mon jardin***, с музами, если они благоволят нанять у меня квартиру; одним словом, *со книгой, с лирой, и наконец, с Темирой*⁴. Так, приятель, кто не поставил себе целью ни чинов, ни богатства, ни громкой славы, тот должен искать счастья около себя, в своем доме, в своем семействе. Буду готовить себя для этого счастливого состояния; чтобы им наслаждаться, надобно быть его достойным; или это будет одна маска счастья, условие, которое мог всякий человек исполнить, берется и не исполняется; обыкновенные супружества не иное что, как тяжелые и неисполнимые условия. Одним словом, хочу жить скромным литератором и, если можно, сделаться хоть немного человеком.

Я заметил, что во мне недостает многого множества, чтобы быть не последним во своей форме. Что делать, судьба и обстоятельства сделали таким, я оглянулся на себя только теперь и едва ли не поздно, всё уже основалось; я могу

* Что касается настоящего (франц.).

** Возделывая свою голову и свой сад (франц.).

только снять с себя некоторые наросты; кое-что прибавить или поправить, но главное сделано, переменить не можно. Знаешь ли, что мне мешает почти больше всего делать — по крайней мере, теперь — хорошее и славное? Лень⁵. Друг любезный, как вижу, это несчастье дано тебе и мне в большом изобилии; природа — или, за что винить ее, обстоятельства не поскупились! Если теперь себя не переменить, то едва ли что-нибудь из нас выйдет! И я признаю, не сделал ни одного шага к поправлению; но и то хорошо, что вижу беду и хочу помочь ей — помню об этом! Скажу тебе, что есть творение прекрасное, милое и несчастное...⁶ довольно; изъясняй это как хочешь, больше ничего не узнаешь от меня. Если бы ты был со мною, то, может быть, сказал бы что-нибудь. А Панина, эта милая, милая, комическая Панина?? Что она делает и что ты сам делаешь? Подумай, однако ж, что следующей зимою едва ли меня не увидишь в Петербурге! Иван Петрович Тургенев приедет к сыну, думаю, в декабре, и я с ним, по крайней мере так полагаю!⁸ Cela vaut quelque chose*; от тебя ожидаю инструкции об этом, что нужно видеть в Петербурге. А театры, а мадам Филлис!⁹ — желал бы съездить на несколько времени в Гёттинген¹⁰; один, без методы ничему не научишься, даже не получишь такой выгоды от чтения! И читать надобно учиться.

Прости, любезный, добрый друг, обрадуй меня ответом ради Бога, неужели ты ленив до такой степени? Прости, спешу приняться за перевод: я теперь за тремя переводами вдруг, скучно сидеть за одним: Руссо¹¹, Дон-Кихот¹², Essai sur les Éloges!¹³

А «Вадима»¹⁴ я бросил; мне все говорят, что он есть подражание «Марфы Посадницы»!¹⁵ Не хочу выходить на сцену подражателем, даже толковым.

1805

15.

Е. Д. Турчаниновой

<Конец марта — начало апреля (до 9-го) 1805 г. Петербург (?)>

Милостивая государыня матушка
Елизавета Дементьевна.

Честь имею Вас поздравить с Светлым Христовым Воскресением¹; желаю от всего сердца, чтобы Вы провели его весело, с приятностью и здорово. Скоро надеюсь я Вас увидеть². Чувствительно благодарю Вас за Ваше милостивое письмо, которое меня обрадовало; только я желал бы, чтобы Вы для себя, а не

* Это чего-нибудь да стоит (франц.).

для меня старались иметь что-нибудь и думали больше о своем спокойствии — сделайте милость, матушка, поздравьте от меня Петра Николаевича³ и детей с праздником и Катерину Афанасьевну⁴ — я спешу писать, чтобы успеть на почту. Простите; с сердечным почтением и любовью,

милостивой государыни матушки

Ваш покорный сын

В. Ж.

16.

Д. Н. Блудову

<Май—июнь 1805 г. Белев>

Что, Блудов? Ты, мне кажется, всё так же ленив, как я! Что мне приятно! По крайней мере, могу всегда найти оправдание перед тобою! Скажи мне, однако же, о себе хотя полслова; мы только ленивы, а всё добрые друзья между собою. Хотя я и не совсем был доволен моею петербургскою жизнью, хотя и не то нашел в твоём обществе (а ты в моем), что бы найти было надобно и чего бы мог надеяться, но это сделалось; отчего, не знаю. Об этом поговорю после *plus au long!** Мы с тобою по сию пору всё играли дружбою, а не были прямо друзьями; нечего записаться! И это по большей части от тебя! Я всегда с теми людьми, с которыми обхожусь теснее, беру тот тон, который они берут со мною. Были минуты, которых я не помню, но которые были мною отменно приятно проведены с тобою, их немного, а я бы желал, чтобы их было побольше! Скажи мне, отчего это, и как можно сделать, чтобы это было не так! Вот вопрос, который ты должен решить в будущем твоём письме.

Теперь скажу тебе несколько слов об «Эдипе» Озерова¹, который, по определению судьбы, странствует где-то, но, конечно, будет возвращен своему господину. Вот как это случилось! Ты прислал его ко мне в Москву, когда я был в деревне. Тургенев, не Александр, но Николай, тотчас отправил его ко мне в Белев, но его не приняли на почте, а прислали ко мне только «Дунтерияду»² и «*Mémoires de Mme Mesnil*»³, с которыми он путешествовал от Петербурга до Москвы. Николай Тургенев оставил его на почте у одного своего знакомого, который дал ему слово прислать его ко мне. Между тем я приезжаю; спрашиваю об «Эдипе», рассказывают, что он на почте; посылаю за ним. Этого человека, у которого он остался, нет; я через два дня после моего приезда в Москву уезжаю в Петербург, давши комиссию Николаю Тургеневу взять «Эдипа» у своего знакомого и отдать его Волхонскому⁴; я не мог сам этого сделать, потому что не успел, и надеялся, что всё это без меня, верно, делается, и дал к Волхонскому за-

* Более подробно (франц.).

писку, в которой объяснил первое желание Озерова (я тогда не знал, что он хотел возвратить свою пиесу) в уверении, что пиеса, конечно, отдана Волхонскому, я сказал В<ладиславу> А<лександровичу>⁶, что ее отдал; но приезжаю в Москву и узнаю, что пиеса не взята, что этот человек, которому ее отдали, в Рязани, что он придет скоро и что пиеса, конечно, не пропадет. Между тем Тургеневы уехали в Липецк⁵; следовательно, «Эдип» не прежде возвратится как по их возвращении⁵. Скажи это всё Вл<адиславу> Алекс<андровичу> и скажи ему, ради Бога, что я ни в чем не виноват, что всему причиною этот фатализм, который сопряжен с жизнью Эдипа. Между тем другой список, который у Волхонского и в котором всего на всё пять ошибок, мною выправлен и оставлен у Волхонского. Роли выучены, следственно мне не для чего было брать его и отсылать назад к автору. Представление, однако ж, отложено до зимы⁷. Если ж Владиславу Александровичу непременно нужна эта копия, то пускай он напишет к Волхонскому и ее вытребует назад. Мне очень жаль, что всё это сделалось таким странным образом! Прости, любезный друг! Обнимаю тебя искренно! Твой портрет у меня есть, а твоя сестрица Новосильцова⁸ дура и сумасбродная! Пожалуйста, возьми у нее Лагарпа!⁹ Почему она дура и сумасбродная, это объясню после!

Я еду в будущем мае вояжировать¹⁰; год пробуду для ученья в Гёттингене; год, для ученья же, в Париже, и год или полтора буду ездить по Европе. Антонский дает мне три тысячи взаймы бессрочно и без процентов. Что если бы ты поехал вместе со мною! Подумай об этом. Неужели эта любовь, эта Фурия (!!!) тебя удержит. Мои товарищи Мерзляков и Бошняк¹¹. Как бы хорошо было, если бы ты был тут же. Жду твоего ответа!

17.

А. И. Тургеневу

31 августа <1805 г. Белев>

31 августа

Bonjour, ami!* Хочу написать к тебе несколько строк; сказать тебе, что ты очень дурно делаешь, не отвечая мне на мои письма; я не знаю, что ты, где ты, как всё делается вокруг тебя, то есть что твой батюшка и каковы твои обстоятельства. Сверх того, очень мне досадно то, что ты не подумаешь исполнить моей просьбы, то есть отыскать на почте трагедию «Эдипа», за которого, я думаю, что сочинитель бранит меня¹, и он имеет причину, хотя я не виноват ни в чем, а одолжен одной твоей ветрености этою неприятностью. Тебе бы надлежало постараться всё загладить, но ты об этом не думаешь; не стыдно ли, брат, не сделать такой безделицы!

* Здравствуй, друг! (франц.).

Податель этого письма отдаст тебе и урну². Она очень мала, но прекрасная и будет годиться, если поставить ее на столб, который надобно сделать гранитный, потому что такой крепче; при сем прилагаю и рисунок³. Сделай, брат, всё по моему плану: тебе предоставляю исполнение; этого для тебя должно быть довольно! Нас трое делает этот памятник. Знаешь, кто третий? Простая надпись «Здесь лежит... умерший... на году своей жизни» будет всего лучше. Если тебя это письмо не застанет в Москве, то оно будет доставлено Костогоровым⁴ вместе с урною. Отвечай мне, брат, пожалуйста. Я нынче больше чувствую цену твоей и некоторых других людей дружбы. Желал бы, чтобы мы с Андреем Сергеевичем⁵ были в теснейшей связи: он должен быть хороший человек; между нами не должно быть антипатии; я нашел у себя в письмах письмо его ко мне и Мерзлякову, очень дружное, а с тех пор мы с ним не ссорились, и не за что. Скажи ему это. Со временем всё будет сделано, и, надеюсь, всё будет хорошо сделано.

Я нынче, то есть в нынешнее лето, больше себя чувствовал и открыл в себе больше способности, или не знаю чего, быть человеком как надобно, то есть быть во всех отношениях тем, что должно; больше думал и чувствовал. Но для того, чтобы всё это во мне и, прибавлю, во всех нас созрело, надобно, чтобы мы были друзьями, чтобы всякий из нас, делая что-нибудь на сем свете, имел в виду тех людей, которые составляют для него *мир*, то есть тех, которых одобрения его оправдывают и ободряют; чтобы всякий из нас чувствовал, что он точно не *один*; иначе для чего быть и славным и добродетельным! — нет, это я не так сказал! — иначе скучно, трудно быть и славным и добродетельным! Как можно, должно стараться поддерживать в себе энтузиазм наш, которым мы в старину, в счастливое время нашего Собрания⁶, были оживлены гораздо более, по крайней мере вы прочие; я, напротив, чувствую, что теперь я как-то живее, больше думаю сам, больше вижу перед собою возможности сделать из себя что-нибудь хорошее. Это меня делает счастливым, по крайней мере часто счастливым; что ж если то, что думал, будет сделано! Для этого нужно иметь в дружбе подпору! Видишь ли, что я умом доказываю необходимость для нас дружбы, и признаюсь, больше умом, нежели чувством. Я сильнее это буду чувствовать только тогда, когда испытаю. Ты сам признаешься, что вся наша дружба, твоя, моя, Мерзлякова, Кайсарова, была основана на воображении; может быть, вояж больше дал тебе средств быть на *опыте* другом с А<ндреем> С<ергеевичем>, и ему тоже⁷. Тем лучше для вас. Ожидаю того же для себя и надеюсь. Будем друзьями, братцы; мы *сделаем* гораздо больше; но будем друзьями без ребячества, как должно. Я в себе чувствую больше силы быть мужем, потому что начинаю чаще размышлять. До сих пор я, кажется, томился в *женственности*, в бездействии. И теперь немного деятельности, но по крайней мере вижу необходимость быть выше, выше; для этого требую помощи от друзей моих. Братцы, вместе, вместе пойдем ко всему доброму! Это говорит вам не энтузиазм ребяческий и огненный, но холодное размышле-

ние. Еще, брат, хочу обратить внимание на религию. Она нужнее и действительнее простой, умственной философии; но только хочу; испытаю и увижу. Прости, брат! Отвечай мне, если не хочешь меня чувствительно оскорбить.

Это письмо писано к тебе и к Мерзлякову, моему *товарищу* (как много заключается под этим словом). Я пишу его с особенным чувством! Он мой товарищ, мы будем с ним образовываться вместе, всем вместе; лучшее и самое критическое время жизни моей пройдет с ним; отдай ему это письмо. Я не пишу к нему особенно потому, что всё равно, к тебе ли, к нему ли надпись на конверте: содержание для вас обоих. Скажи ему еще раз, что я имею право требовать от него ответа на письмо: я хочу знать, каково его положение, каковы его планы, всё, всё, что принадлежит до нашего с ним путешествия. Если бы я был взыскателен, то бы сказал ему и даже тебе, что вы меня слишком забыли, имея столько важных вещей, об которых я непременно должен знать. С моей стороны вы должны ожидать одного описания моих мыслей и чувств, следовательно, должны знать, что материя не разнообразна и не изобильная, и даже неинтересная, потому что я решил описывать то, что во мне происходит, и не всегда расположение отвечает случаю, то есть не всегда в почтовый час бываешь весел и хорошо расположен, чтобы описывать чувства свои и мысли как надобно, так, как бы хотелось. Во всём, что со мною случается, нет ничего для вас интересного, потому что все мои отношения вам неизвестны. Итак, видите ли, что я совершенно прав. Но вы виноваты: я еще не знал по сие число, что Мерзл<яков> магистр⁸, что ему прибавлено жалование; о приезде твоём из Липецка узнал от Сохацкого⁹; больше ничего не знаю. Исправьтесь, милостивые государи, друзья мои. Ожидаю от вас удовлетворительного письма¹⁰.

Р. S. Между тем требую непременно, чтобы ты, Александр, исполнил мои комиссии. Они следующие: прислать все мои книги, которые у тебя, непременно; я терпеть не могу разрознивания в больших увражах. У тебя *Histoire de l'Amérique* 1 и 2 томы, *Beispielsammlung* 1-й том, *Catalogue de Laharpe* 1, *Mémoires de Lekain*¹¹. Пришли непременно и как можно похлопочи об этом. Если нет тебя в Москве, то Мерзляков должен исполнить все сии комиссии. Заставь Николая¹² съездить на почту, сам съезди и пр. и пр.

À propos de Nicolas*. Я еще не благодарил твоего батюшку за его милость (доверенность с его стороны почитаю милостью). Скажи, что я буду самым верным и вернейшим товарищем Николаю, тем надежнее, что моим товарищем будет Мерзляков. В самом деле, это позволение ехать со мною Николаю и для меня собственно будет благодетельно; желая его пользы, буду себя, может быть, от многого удерживать и вообще буду осторожнее во всем. Не правда ли? Но я хотел написать несколько строк, а написал несколько страниц.

* Кстати о Николае (франц.).

Вот рисунок: столб и камень гранитные; желал бы, чтобы каждое дерево имело свое собственное имя, то есть имя тех людей, которые больше были *к нему*¹³ привязаны. Разумеется, что первые должны быть посвящены батюшке и Ив<ану> В<ладимировичу>¹⁴. Делай как хочешь, впрочем; всё это зависит от одного тебя.

Мерзляков! Если Тургенев уехал в Петербург, отошли это письмо и урну к нему с Костогоровым. Будь хотя в этом случае, против своего обыкновения, деятельным, то есть не ленивым, для Жуковского.

Извините, братцы, что в письме моем такой беспорядок: я писал так, как говорил, а вы знаете, как я говорю.

18.

А. И. Тургеневу

<Вторая половина августа 1805. Белев>

Здравствуй, брат и друг; отчего не пишешь ко мне ни строки о возвращении вашем из Липецка, о здоровье батюшки¹, о самом себе и прочее? Стыдно. Я от других узнаю, что вы приехали. Что ты делаешь и отчего такая лень? Я не требую большого письма, а нескольких строк. Твое письмо из Липецка получил я очень поздно²; не писал на него ответа для того, что уже не думал, чтобы он застал вас в Липецке, и дожидался известия о твоём приезде в Москву.

О нашем путешествии³ вместе с Мерзляковым не говорю ничего: ты обо всем узнаешь от самого Мерзлякова; но очень радуюсь тому, что вместе с нами посылают Николая⁴. Мой план — год пробыть в Гёттингене, учиться; еще год в Париже, также учиться; потом год ездить по Европе; если ж обстоятельства не позволят, то всё время посвятить учению. Путешествие будет для меня важным делом, особливо если удастся поехать вместе с Мерзляковым. Возвратясь, посвящу себя совершенно литературе. Надобно сделаться человеком, надобно прожить не даром, с пользою, как можно лучше. Эта мысль меня оживляет, брат! Я нынче гораздо сильнее чувствую, что я не должен пресмыкаться в этой жизни; что должен возвысить свою душу и сделать всё, что могу для других. Мы можем быть полезны пером своим, не для всех, но для некоторых, кто захочет нас понять, но и кто может быть для всех полезен! А для себя будем полезны своим благородством, образованием души своей. Наше счастье в нас самих! Ах, брат, не надобно терять друг друга из виду, не надобно оставлять друг друга! Будем взаимно подавать друг другу помощь! Надобно быть людьми непременно! Я это чувствую! Мы живем не для одной этой жизни, я это имел счастье несколько раз чувствовать! Удостоимся этого великого счастья, которое ожидает нас в будущем, которому нельзя не быть, потому что оно неразлучно с бытием Бога!

Adieu!* Я радуюсь заранее тому, что сделает для меня путешествие! Все эти животворные идеи во мне усилятся! Мы будем вместе с Мерзляковым странствовать, всем пленяться и всем возвышать свою душу. Покажи это письмо ему. Я хотел писать к нему, но не стану: он должен поверить, что он в моих мыслях! Попроси его написать ко мне.

Что же моя трагедия «Эдип»?⁵ Если ты о ней не хлопотал и не хлопочешь, то, признаюсь, очень худо делаешь! Достань ее, ради Бога! Пришли, пожалуйста, мои книги: *Histoire de l'Amérique*, два тома⁶, *Mémoires de Lekain*⁷, *Catalogue de Laharpe*⁸, *Beispielsammlung*⁹.

19.

А. И. Тургеневу

11—16 сентября 1805 г. Белев

Сентября 11^е. 1805^{го}. Белев

Благодарю тебя, мой любезный Александр, за твое письмо¹. Оно меня тронуло до слез; нет ничего приятнее мысли: есть добрый, прекрасный человек, для которого я очень много значу и который будет моим помощником во всем добром, во всем прекрасном и который удержит меня, если буду следовать какому-нибудь заблуждению, или ободрит, если что-нибудь приведет меня в уныние. Вот вещи, которые мне всего нужнее и которых, по несчастью, не имею. Иногда чувствую в себе какую-то необыкновенную живость, которая делает для меня свет прекрасным, и я воображаю в дали какую-то счастливую участь, которой ожидание волнует мою кровь. Иногда всё это исчезает; те же самые чувства, которые меня радовали, приводят меня в уныние, самое тягостное, своею вялостью. Но теперь эти минуты вообще реже, гораздо реже. Мой ум получил какую-то особенную твердость: по крайней мере, во многие минуты был очень ясен и деятелен. Тем тяжелее минуты бездействия. Хотел бы всё пребыть в одинаковом живом положении, и огорчаешься вдвое, когда оно прекращается. Вот для чего желал бы иметь вас, братцы, с собою. Как прекрасно быть хорошим человеком в глазах друзей! Это я теперь очень чувствую! Напротив, в глазах тех людей, которые нас не понимают или имеют совсем другой образ чувств и мыслей, делаешься мертвым, сомневаешься в самом себе, теряешь свою свободу чувствовать и мыслить, теряешь самое желание быть деятельным, теряешь надежду, первую, единственную причину всякой деятельности. Вот для чего восхищаюсь необыкновенно вояжем: деятельность, свобода, разнообразие предметов, и друзья-свидетели моих чувств и мои наставники, мои помощники.

* Прощай! (франц.)

Какая прекрасная перспектива. Я буду очень несчастлив, если этот план не исполнится. *L'âme est un feu, qui s'éteint, s'il ne s'augmente**, сказал Вольтер². Моя душа не имела еще пищи, не пробуждалась, это верно; воспитание, или, лучше сказать, всё то, что было со мною со времени моего младенчества (потому что я не имел воспитания), вместо того, чтобы образовать ее и усилить, только что ее усыпило; я был один совершенно, то есть в кругу множества людей, которых имел с собою, был некоторым образом отделен от всех. Одним словом, прекрасно бы было всем нам жить вместе — я называю жить, не *дышать*, не *спать* и *есть*, но *действовать* и наслаждаться своею деятельностью; следовательно, эта деятельность должна вести к чему-нибудь высокому, иначе можно ли будет ею наслаждаться? Но я буду отвечать на твое письмо; отвечая, много скажу о самом себе, о моей цели и о том, что мы можем и должны сделать друг для друга.

16 сентября

Это письмо не было послано на почту: мне помешали писать, я должен был его оставить. Вообрази, какая досада! Иван Володимирович³ был в Белеве, и я его не видал; мне даже не сказали, что его ожидали, иначе я бы верно его увидел. Очень досадно! Скажи, как он приехал и каково батюшке от его приезда? Что у вас делается и прочее, об этом ты совсем ничего не пишешь и очень дурно делаешь! Буду отвечать на твое письмо и поговорю с тобою посерьезнее. Между тем пожюри за меня Мерзлякова; мне кажется, он не только что ленив писать ко мне, но даже, как видно, ленив обо мне и подумать; а я ведь должен быть его спутником!

Во-первых, я не думаю и не думал, чтобы мы холодели друг ко другу. Этого нет; а я сказал тебе в прошедшем моем письме, что мы вообще не были так тесно связаны, как бы мне этого хотелось. Это правда; может быть, этому причиною обстоятельства, которые нас так надолго разлучили; а разлука, согласишься сам, не усиливает дружбы, когда она не иное что, как простая связь, основанная на привычке быть вместе, сделанная обстоятельствами, приятная, но не такая необходимая, без которой бы нельзя было обойтись, которая бы составляла важную часть жизни (я разумею моральную жизнь)! Такой связи между нами не было, согласишься сам, даже и теперь нет, но будет, должна быть, в этом я уверен: надобно только увериться, что мы не простые друзья, не такие, которым только приятно встречаться, быть вместе, но такие, которым нужно быть друзьями, на которых дружба имеет то же влияние, которое должна иметь религия на всякую благородную душу, то есть самое благотворное, святое, оживляющее, ободрительное. Нельзя сказать одним словом, мне тебе, тебе мне: я твой друг; мы должны вместе трудиться, действовать, чтобы после сделаться

* Душа — огонь, который угасает, если не разгорается (*франц.*).

достойными дружбы и, следовательно, быть друзьями. Дружба есть добродетель⁴, есть всё, только не в одном человеке, а в двух (много в трех или четырех, но чем больше, тем лучше). Если скажут обо мне: он истинный друг, тогда скажут другими словами: он добродетельный, благородный человек, оживленный одним огнем вместе с другим, который ему равен, который его поддерживает собою, а сам поддерживается им. Вот что значит дружба в моем смысле. Я не спрашиваю, друзья ли мы? На этот вопрос ни ты, ни я, ни Мерзляков, никто из нас не может ответить: *да!* Но как прекрасно соединиться для того, чтобы после быть друзьями, действовать для самих себя, потом наслаждаться своим собственным делом: жить друг для друга, говорить себе во всяком случае: я делаю не для себя одного, есть свидетели моих дел, которых не боюсь, но которые составляют для меня самое верховное судилище!

Видишь ли, что я говорю не так, как энтузиаст; что всё, мною сказанное, не мечта, но может и должно исполниться, потому что согласно с целью Провидения, которое всему велит совершенствоваться. Только те вещи могут не удаваться, которые зависят от случая или посторонних обстоятельств; но всё, что ни предлагаю, зависит от нас самих, неразлучно с нами — как этому не исполниться!

Я вам всем, тебе, Мерзлякову, Блудову, должен сказать откровенно, что не был никогда привязан к вам с отменною силою, так же как и вы все ко мне (лучше это видеть, нежели не видеть, потому что, увидевши, узнаешь причину и поправишь). Мы все сходились вместе *случайно*, с удовольствием; но, я не знаю, во мне не было этого внутреннего, влекущего чувства, которое бы я желал иметь, будучи вместе с моими друзьями, одним словом, чего-то не было такого, что всего вернее в дружбе — как это назвать, не знаю. Никого из вас, это разумеется, я не любил с такою *привязанностью*, как брата⁵, то есть, не будучи с ним вместе, я его воображал с сладким чувством, был к нему ближе; ему подавал руку с особенным, приятным чувством: я не знаю, как-то отменно весело было чувствовать его руку в моей руке; между нами было более сродства, по крайней мере с моей стороны. Но что делать! Даже при жизни его мы не были то, что бы могли быть; в то время, когда он был со мною, в нас было больше (то есть во мне) ребяческого энтузиазма; потом мы расстались, потом всё кончилось; одним словом, моя с ним дружба была только зародыш, но я потерял в ней то, чего не заменю или чего не возвращу никогда: он был бы моим руководцем, которому бы я готов был даже *покориться*; он бы оживлял меня своим энтузиазмом.

Но, братцы, мы можем быть друг для друга многим, очень многим, всем, со временем, разумеется, не вдруг! Для чего же и жить, как не для усовершенствования своего духа всем тем, что есть высокого и великого? Одному этого сделать почти не можно! Будем же друзьями, то есть верными товарищами на пути к добру! Дружба есть добродетель, еще раз повторяю!

Я забыл сказать о причине той *малой* привязанности (или, справедливее, *не довольно сильной*, малою нельзя ее назвать, потому что это будет неправда), которая была между нами. Я думаю, та причина, что вся наша дружба была не иное что, как ребячество, как простая связь, не на твердом основании, без всякой цели, а сделанная случаем, так же как и все светские дружбы и связи. Положим себе цель (какую знаешь), пойдем по ней вместе, не поперека друг другу, но помогая, но воспаляя друг друга при всяком случайном ослаблении! Тогда не одна склонность соединит нас, но *благодарность, почтение* взаимное и даже чувство необходимости в такой связи, которая должна привести нас наверно к счастью. Всё, что я к тебе теперь написал, всё сказано без особенного натянутого чувства, а просто, с некоторым твердым и очень приятным уверением. Чувства очень меняются, потому что всё на них имеет влияние: я говорю, такие чувства, которые ни на чем не основаны, а *вдруг*, на время, тебя воспаляют; но чувства спокойные, утвержденные умом, тверды и навсегда остаются, потому что, имевши их в спокойную, *обыкновенную* минуту, всегда можешь возобновить, не выходя из своего обыкновенного положения. Это я знаю по частому опыту. Очень нередко бывал я в отчаянии, не находя в себе того сильного чувства, которое в другое время имел; это только оттого, что это сильное чувство, неестественное, или, лучше сказать, необыкновенное, есть феномен, который не всегда возобновлять можешь свободно. Теперь *дурное расположение*, которое так часто прежде меня мучило, не имеет на меня влияния, я дерусь с ним умом и часто — *vive la raison!** — побеждаю его!

Но я исписал почти четыре страницы, а еще очень мало сказал о том, что думал прежде. Я заболтался, но, право, говорил то, что ты должен принять, и, кажется, всё, сказанное мною, навсегда во мне останется, тем больше, что я всё думал, всё говорил без моего прежнего энтузиазма, который так ветрен и переменчив. Из этого, однако ж, ты не должен заключать, что будто я хочу отказаться совсем от энтузиазма; напротив, я хочу его усилить, укоренить, только ошибись ему несколько крылья, сделать его спокойнее, постоянное: хочу, чтобы он меня освещал, а не ослеплял. И это даже должна сделать дружба: *один* будешь не так смел, а то, что воспламенит и будет воспалять *многих в одно время*, то покажется не пустою мечтою, а чем-то рассудительным, основательным. Видишь ли, что я хочу быть энтузиастом по рассудку. — *C'est une rareté!***

Оставляю до другой почты, что я хотел сказать о самом себе, то есть о своем характере, о моей цели в жизни, вообще о моей *частной* жизни отдельно от нашей *общей*, которую должна нам дать дружба! Надобно об этом подумать еще, сверх того, я что-то устал; ведь не вдруг привыкнешь к продолжительному раз-

* Да здравствует разум! (франц.).

** Это редкость! (франц.).

мышлению. Эта наука труднее всякой, особливо когда человек прожил 23 года на сем свете, не подозревая, чтобы можно было находить приятность в *размышлении*. Это отчасти мой жребий, но я знаю этому причину, следовательно, перемену это с вашею помощью, милостивые государи, друзья мои! Это будет отныне моим обыкновенным припевом.

Хотел еще написать к тебе, но не буду! Некогда, опоздаю.

20.

Ф. Г. Вендриху

19 декабря <1805 г. Белев>

Благодарю Вас, любезный и почтенный Федор Григорьевич, за Ваше приятное письмо, которое меня очень обрадовало; позвольте уверить Вас, что я много ценю Вашу дружбу и желаю искренно, чтобы она укоренилась. Отвечаю Вам несколько поздно потому, что почта отсюда отходит, как мне сказывали, по одним только средам, а Ваше письмо получено мною в прошедший четверг, но прошу Вас верить, что для меня истинно приятно иметь с Вами хотя письменное сношение и что в продолжении нашей переписки я предвижу для себя великую выгоду: сообщение с таким человеком, как Вы, должно не только развивать понятия, но даже сообщать много новых: итак, мне позволено быть в этом случае эгоистом. Не знаю, разберете ли Вы мою руку; я, по несчастью, не имею жены, которая бы могла писать четко и прекрасно, и, сверх того, не надеюсь, чтобы мой русский слог Вам так понравился, как мне Ваш немецкий. Но дело идет не о слоге, пиши как разумеешь, материя, конечно, найдется; французская половица: *à bon entendeur demi-mot**, очень справедлива.

Начну ответом на Ваше письмо. Описание вояжа из Долбина в Орел очень меня повеселило. Я теперь твердо уверен, что мораль иногда бывает питательна не для одной души, а вместе и для желудка. Если бы Вы не сделали маленького морального наставления нашему приятелю Киреевскому¹ о средствах хорошо кормить своих гостей, то бы желудок Ваш не очень был доволен долбинским обедом. *Vive la philosophie morale! Vive son influence même sur la cuisine la plus delabrée. Je voudrais pourtant que la philosophie de notre ami Kireefsky fut un peu plus matérielle pour qu'il put boucher un peu les trous par lesquels le vent entre dans sa maison de Dolbino et fait que les honnêtes gents y ont les doigts gelés. Ce cynisme-là est un peu fort!*** Как бы то ни было, поздравляю Вас с счастливым воз-

* Умный понимает с полуслова (*франц.*).

** Да здравствует моральная философия! Да здравствует ее влияние даже на самую запущенную кухню! Я хотел бы, однако, чтобы философия нашего друга Киреевского была бы немножко более материальной, дабы он мог заделать отверстия в своем долбин-

вращением в свое семейство, которое для меня весьма интересно. Я воображаю Ваш уголок спокойным и веселым пристанищем добрых людей, которым знакомы музы, которые тем больше умеют наслаждаться удовольствиями жизни, чем лучше и справедливее умеют их ценить, я бы очень желал видеть Вас в середине Вашего семейства, которому прошу меня непременно рекомендовать, и, конечно, исполню это желание, если мне представится благоприятный случай. Между тем скажу Вам, что здесь все об Вас помнят. Madame Protasoff просит Вас верить, что она также не забудет никогда тех приятных минут, которые ей доставило короткое знакомство с Вами. Мария Андреевна благодарит Вас за песню и ноты, которые вытвердила и часто играет².

В благодарность за Ваше подробное описание путешествия в Орел скажу Вам слово о своих собственных занятиях. Я переселился в Белев, в свой дом; вся наша фамилия теперь живет у меня. Следовательно, я не могу пожаловаться, чтобы вокруг меня было пусто; скучать могу еще меньше, потому что принялся читать Виланда, Вашего приятеля³. Читаю «Агатона»⁴; удивительная книга! Я думаю, это лучшее его сочинение. Какой слог! Какое знание света и человеческого сердца! Как всё прекрасно описано: и афинские собрания! и уборная Данаи! и двор Дионисия! И какая философия! Я зачинал читать эту книгу прежде, давно, в французском переводе; признаюсь, тогда она мне наскучила: первое, потому что перевод был дурен и что почти невозможно хорошо перевести книгу, написанную таким единственно-прекрасным слогом, как «Агатон»; второе, потому что эта книга меньше роман, нежели философическое изображение человека; а тогда я не мог так любить *философическое*, как люблю теперь, и меньше мог понимать философию «Агатона». Трудно найти книгу столько полезную, как эта, для молодого человека с некоторою живостью в воображении. Я прочел только два первые тома, теперь начинаю третий, но по оглавлению, кажется, понимаю план и цель Виланда. Он представляет молодого энтузиаста добродетели во всех положениях жизни, он сличает его *вдохновенную* философию с *убийственной* философиею светских развратников, эгоистов по правилам, одним словом, Гиппиасов. Это сличение имеет великую пользу. В свете обыкновенно смеются мечтам и чувствам пылких молодых людей; называют их понятия о божестве и добродетели химерами; и в самом деле, они химеры в большом свете, для которого они существуют и который всё привык обращать в смешное; но они не химеры для того человека, который заключает свое счастье меньше в грубой чувственности, нежели в наслаждениях духовных. Виланд хотел согласить сии две противоположности: *мечтательность*, которая разлучает человека с людьми и переселяет его в жилище духов, и грубую

ском доме, в котором гуляет ветер, замораживающий пальцы у порядочных людей. Это уж, пожалуй, слишком цинично! (франц.).

телесность, чувственность, которая слишком унижает человека и лишает его морального и первейшего достоинства, единственно отличающего его от скотов. Жить одними идеалами не годится, но не иметь совсем идеалов также не годится: середина есть то, что всякий человек с некоторым особенным образом чувства избирать должен. Я еще не дочитал «Агатона», но мне кажется, что Виланд при конце в виде Архитаса представил настоящего мудреца, истинного морального человека. Я бы желал, чтобы всякий молодой человек с пылкой, платонической душою пред своим вступлением в свет брал в руки «Агатона», прочитывал его несколько раз и приготавливал себя сим чтением к тем многочисленным, иногда трудным опытам, которые для всех нас, бедных грешников, приготовлены. Он бы научился не вверяться своей мечтательности (Schwärmerei), которая сама по себе вредна и опасна, но, будучи обуздана здравою опытною философиею, может быть источником совершеннейшего земного счастья; в то же время он бы вооружился против обольстительной философии светских эгоистов, которых вся доктрина методически представлена Гиппиасом и самым лучшим образом опровергнута в продолжение всей истории Агатона; я думаю, что Архитас должен быть противоположностью Гиппиаса, и тем лучше, что его философия оставлена для конца: последнее впечатление всегда самое сильнейшее. Одним словом, «Агатон» — прекраснейшая книга в своем роде, я теперь начинаю почитать и прозу Виланда, несмотря на то, что он часто отделяется от материи. Главное достоинство его состоит в том, что он не дает уму заснуть и всегда возбуждает много мыслей... Но я, верно, Вам наскучил, говоря о таком предмете, который Вы, конечно, знаете лучше меня. Что нужды! Любовникам приятно говорить о своих любовницах, а охотникам до чтения — о тех книгах, которые они читают. Вы мне сами должны сообщить свое мнение о «Агатоне». Я бы желал, если бы не боялся Вас отяготить, чтобы Вы назначили мне все лучшие немецкие книги во всех родах литературы; немецкая литература мне мало знакома; но я, конечно, не имею нужды искать лучше Вас советника в выборе книг немецких. Между тем простите. Мое почтение всему Вашему любезному семейству. Присылайте свой перевод и не забывайте

Жуковского

19 декабря

1806

21.

А. И. Тургеневу

8 января <1806 г. Белев>

Генваря 8^е

Сейчас получил твое письмо¹ и сейчас на него отвечаю. Благодарю тебя, брат, любезный друг; ты меня душевно тронул; тронул тем, что мне захотел поверить свои чувства: это доказывает, что я тебе нужен и что ты точно хочешь любить меня. Признаюсь, я несколько боялся; думал почти, что я не совершенно важный человек для тебя, что тебе можно обойтись без меня. Тон твоего письма доказывает мне противное; он трогает меня душевно. Одним словом, нам надобно быть друзьями, товарищами в этой бедной жизни, в которой ничто не радует, по крайней мере не радует продолжительно; одна мысль всегда будет меня восхищать — мысль о таком человеке, как ты, которого дружба должна быть для меня свечником. Я чувствую, брат, что я стал несколько способнее против прежнего быть человеком, то есть не двуножным животным без перьев, но человеком в твоём смысле, несколько способнее для дружбы. Но что делать! Здесь я один; почти всё, что вокруг себя вижу, мне не отвечает, а мне нужна подпора. О! моя жизнь прошла не так, как бы должно было. Ты имел перед собою брата, батюшку — какие люди! но я вечно прозябал, почти один, хуже, нежели один, потому что не был оставлен, не был брошен, следовательно, не имел нужды действовать, мог спать умом и телом, и спал, и проснулся очень недавно, и по сию пору не умею владеть собою. Эта неподвижность, этот душевный паралич, который часто чувствую, приводит меня в отчаяние. Всякий раз, когда вспомню о брате², то живее чувствую цену его и потерю. Что бы он был для меня теперь! Кажется, мне теперь жаль его больше, нежели тогда, когда мы его лишились! Я теперь больше чувствую самого себя, больше знаю цену настоящую жизни и больше понимаю, для чего я живу. Дружба его, как она ни была коротка и как я ни был ничтожен в то время, когда его знал, оставила что-то неизгладимое в душе моей: весь энтузиазм к добру, всё благородное, что имею, всё, всё лучшее во мне должно принадлежать ему. Мне кажется, всякий раз, когда об нем вспомню, стал бы на колена, для чего — не знаю; но какое-то особое чувство меня к этому побуждает. Ах, брат, нам надобно жить на свете не так, как живут обыкновенно, жить возвышенным образом; но я *один* ничего не сделаю; мне необходима подпора. Я найду ее в дружбе, и в твоей дружбе. Дай руку, но только дай ее от всего сердца и не ожидай найти ничего слишком отменного; я должен еще быть образован для дружбы; но, кажется мне, если не ошибаюсь,

теперь стал я зреее, несколько лучше. Нам надобно помогать друг другу, оживлять друг друга делами и мыслями. Бывают такие минуты, в которые жизнь кажется чем-то пустым, в которые самое добро кажется ничтожным, ничего не хочешь, ничего не считаешь нужным и важным; такие состояния души часто очень долго продолжаются; надобно, чтобы какая-нибудь неожиданность их уничтожила, и в такие-то минуты всего нужнее дружеская подпора. По твоему письму заключаю, что ты во всё это время не был счастлив, страдал душевно; вообрази ж, что я почти завидую этому состоянию; душа твоя была по крайней мере не в бездействии. Я бы даже иногда желал, чтобы какое-нибудь потрясение меня разбудило, чтобы я мог с чем-нибудь бороться и, следовательно, напрягать все свои силы: либо пан, либо пропал! Всякое состояние имеет свою горечь. Излишнее спокойствие усыпляет, если оно не приобретено трудом, не есть отдых, а всегдашнее, постоянное состояние. Излишнее волнение изнуряет, следовательно, может быть также убийственно для души, которая, видя свою неспособность действовать, отказывается от деятельности и теряет бодрость. Мне кажется, ты был в последнем положении, а я часто бываю в первом. Иногда не вижу перед собою ничего, всё задернуто каким-то густым туманом, сидел бы поджавши руки и закрыв глаза, больше ничего! Но это состояние оттого так тягостно, что не можешь его не чувствовать, что видишь, как оно низко, и не находишь в себе довольно сил, чтобы из него вырваться; оно хуже самого ничтожества, которое по крайней мере не чувствительно.

Надобно, брат, и мне и тебе назначить себе постоянную цель; видя ее вдали, по крайней мере не будешь в нерешимости, будешь знать, чего хочешь, и следовательно будешь стараться получить. Если минуты расслабления и случатся, то, конечно, не будут так продолжительны: взгляд на будущее, на тот предмет, которой сам себе избрал, будет оживлять душу и возвращать ей прежнюю ее силу и бодрость.

Так, брат, я понимаю и иногда чувствую, что ничто так не возвышенно, как иметь твердую, постоянную уверенность в бессмертии: это единственная цель наша. Как должна быть велика, чиста, непобедима та душа, в которой чувство бессмертия всегда живо и всегда присутственно! Вот всё основание морали, и тот человек должен благословлять судьбу, кто смолоду напитан возвышенными понятиями о бессмертии: он не может не быть добродетельным, по крайней мере никогда не будет дурным. С этой стороны ты счастливее. А я? — Брат! Брат! — скажу тебе, как Карл Моор, который смотрит на ясное заходящее солнце и вспоминает о том, что он был прежде!³ Я не вспоминаю о прошедшем, потому что оно мало оставило на душе моей: но воображаю, кто бы я был, когда бы прошедшее было не таково, каково оно было! В прошедшем не вижу ничего, кроме нескольких часов, проведенных вместе с братом; и те прошли почти не приметно: я был не в состоянии ничем пользоваться и в самом деле ничем